

## КРИТИЙ, СЫН КАЛЛЕСХРА, АФИНЯНИН, – СОФИСТ И ТИРАН

## ВВЕДЕНИЕ

Новые явления в интеллектуальной и политической жизни Греции на исходе V в. до н.э. Софистика и тирания, пример особенного их взаимодействия в лице Крития

**П**оследняя треть V в. до н.э. стала для классической Греции периодом особенных, поистине драматических испытаний. После недолгой полосы расцвета, последовавшей за решающими победами в войнах с персами, греческий мир, вследствие соперничества его главных лидеров – Афин и Спарты, оказалась вовлечен в длительную междоусобную распрю – Пелопоннесскую войну, которая, наложившись на спонтанно действовавшие процессы внутреннего разложения, стала прелюдией общего кризиса полисного строя – как традиционных порядков внутри города-государства, так и сложившейся системы межполисных отношений.

Общим образом социально-политическая ситуация в Греции в конце V в. до н.э. может быть охарактеризована как начальная стадия кризиса классического полиса<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> О кризисе полиса см. *Бузескул В.П.* История афинской демократии. СПб., 1909. С. 237 слл. (новое издание 2003 г. – с. 253 слл., разделы III и IV); *Пёльман Р.* Очерк греческой истории и источниковедения / Пер. с нем. А.С. Князькова. СПб., 1910; новое изд. под ред. С.М. Жестоканова и М.М. Холода. СПб., 1999. С. 195 слл. (гл. VIII–IX); *Ранович А.Б.* Эллинизм и его историческая роль. М.–Л., 1950. С. 10–38 (гл. I); *Глушкина Л.М.* Проблемы кризиса полиса // *Античная Греция* / Под ред. Е.С. Голубцовой, Л.П. Маринович, А.И. Павловской, Э.Д. Фролова. Т. II. М., 1983. С. 5–42; *Фролов Э.Д.* Греция в эпоху поздней классики (общество, личность, власть). СПб., 2001. С. 9–64 (ч. 1). Из сравнительно новой зарубежной литературы назовем: *Mossé C.* La fin de la démocratie athénienne. P., 1962; eadem. Le IV-e siècle (403–336) // *Will Ed., Mossé C., Goukowsky P.* Le Mond Grec et l'Orient. T. II. P., 1975. P. 9–244; *Hellenische Poleis (Krise – Wandlung – Wirkung)* / Hrsg. von E.Ch. Welskopf. Bd I–IV. B., 1974; *Pečirka J.* The Crisis of the Athenian Polis in the IVth century B. C. // *Eirene*. 1976. XIV. P. 5–29.

Примечательной чертой этого кризиса стало развитие монархических устремлений и идей в ущерб искони главенствовавшей коллективистской, республиканской установке античного гражданского общества. В самом деле, в период острого и длительного социально-политического конфликта, каким была Пелопоннесская война, в условиях, когда традиционные институты и принципы гражданского общества стали давать сбой, обнаружилось тяготение общества – как массы граждан, так и элиты – к сильной личности, с которой стали связывать надежды на спасение государства, на успех в затянувшихся и обескровивших полисных республиках военных конфликтах. Подобного рода настроения стали естественным основанием для выступления честолюбивых политиков, всегда тяготившихся сковывавшими их инициативу полисными порядками, а теперь, в эпоху начавшегося разложения этих порядков, и в самом деле получивших шанс на личное возвышение. Примерами могут служить головокругительные взлеты (но, как правило, и не менее стремительные падения) выдающихся политиков и полководцев нетрадиционного типа – Алкивида в Афинах, Лисандра в Спарте, Гермократа и Дионисия в Сиракузах.

Отсюда – интерес греческих интеллектуалов к феномену сильной личности, к теме единоличной, авторитарной власти, монархии или тирании. В свою очередь, в деятельности и поведении реальных политиков, творцов авторитарных режимов, можно заметить влияние или отголоски политических идей, порожденных спонтанно развившимся увлечением образами сильной личности и авторитарной власти. Но самое поразительное – это наличие таких случаев, когда абстрактный, теоретический интерес к нетрадиционной единоличной власти и его реализация на практике сливаются и оказываются воплощенными в деятельности одной исторической фигуры. Ярчайший пример – афинский софист и тиран Критий, чей жизненный путь, карьера и творчество вполне заслуживают специального рассмотрения.

Но прежде чем мы обратимся к феномену Крития, присмотримся поближе к тем двум объективным потокам, в которые вылилась творческая энергия греческого общества, и в первую очередь людей типа Крития, на исходе классического времени. Иными словами, уделим толику нашего внимания как тем представителям интеллектуальной элиты, которые стали апологетами авторитарной власти, так и тем политикам, предтечам тирании или собственно тиранам, в чьих устремлениях и действиях можно усмотреть более или менее сильное воздействие новых общественно-политических идей.

Обращаясь к теме интеллектуалов – апологетов авторитарной власти, заметим, что интерес к монархической власти зародился у греков очень рано, практически одновременно с формированием самой классической цивилизации полисов и порожденной ею литературы<sup>2</sup>. При этом показательно, что вспышки или проявления этого интереса приходится именно на периоды обострения социально-политической ситуации в греческом обществе. Не случайно, конечно, что первое его проявление можно наблюдать у Гомера, в «Илиаде» (во 2-й песне), в знаменитой сцене испытания греческого войска. Порожденная распрей между героями-предводителями и более широким противостоянием группы знатных лидеров и массы воинов-простолюдинов, эта конфликтная ситуация в военном лагере типологически предвляла возможный в более широких масштабах кризис в гражданском обществе.

Но напомним о содержании гомеровского эпизода. Когда имевшее в виду лишь проверку общего настроения предложение Агамемнона прекратить войну и вернуться на родину было вдруг подхвачено воинскою массой и все устремились к своим кораблям, порядок был восстановлен только благодаря находчивости и решительности царя Одиссея. Описывая, как Одиссей успокаивает поддавшихся первому

<sup>2</sup> О развитии монархической идеи у древних греков см. также специальные исследования: *Kaerst J. Studien zur Entwicklung und theoretischen Begründung der Monarchie im Altertum*. München, 1898. S. 12–38; *Pohlenz M. Staatsgedanke und Staatslehre der Griechen*. Lpz, 1923. S. 136–156, 167–168; *Sinclair T.A. A History of Greek Political Thought*. L., 1951 (гл. 1–11, passim); *Mossé C. La fin de la démocratie athénienne*. P., 1962. P. 375–399.

порыву воинов, поэт заставляет его произнести две краткие речи, соответственно обращенные к двум группам смиряемых, – речи, разные по тону, но одинаково подчеркивающие решающее значение царского слова, до конца еще будто бы не сказанного и не понятого. Ввиду важности этого отрывка приведем его полностью (курсив наш. – Э.Ф.).

«Сам Одиссей Лаэртид, по пути Агамемнона встретив,  
Взял от владыки отцовский вовеки не гибнущий скипетр;  
С оным скиптром пошел к кораблям аргивян

меднобронных

Там, властелина или знаменитого мужа встречая,  
К каждому он подходил и удерживал кроткою речью:  
“Муж знаменитый! тебе ли, как робкому, страху вдаваться.  
Сядь, успокойся и сам, успокой и других меж народа;  
Ясно еще ты не знаешь намерений думы царевой;  
Ныне испытывал он, и немедля накажет ахеян;  
В сонме не все мы слышали, что говорил Агамемнон;  
Если он гневен, жестоко, быть может, поступит с народом.  
*Тягостен гнев царя, потомка Крониона Зевса;  
Честь скиптроносца от Зевса и любит его промыслитель*”  
Если ж кого-либо шумного он находил меж народа,  
Скиптром его поражал и обуздывал грозною речью:  
“Смолкни, несчастный, воссядь и других совещания слушай,  
Боле почтенных, как ты! Невоинственный муж и

бессильный,

Значашим ты никогда не бывал ни в боях, ни в советах.  
Всем не господствовать, всем здесь не царствовать нам,  
аргивянам!

*Нет в многовластии блага; да будет единый властитель,  
Царь нам да будет единый, которому Зевс прозорливый  
Скиптр даровал и законы да царствует он над другими”*

(Ilias. II. 185–206. Пер. Н.И. Гнедича).

Возможно, было бы натяжкой рассматривать проповедь Одиссея как сугубую защиту монархического принципа<sup>3</sup>. Этому мешает, впрочем, не столько контекст речей Одиссея, сколько ряд внешних обстоятельств: достаточно условный характер царской власти у Гомера, являющейся в ряде случаев не столько монархией, сколько корпоративным завершением аристократической общины (например, у феакийцев, где Алкинои был одним, правда, самым старшим, из 13 правящих совместно царей); затем особенности положения как Агамемнона, бывшего не общим для всех царем, а лишь главнокомандующим на время похода, так и Одиссея – богоравного царя не в меньшей степени, чем любой из Атридов. Так или иначе, еще большую ошибку было бы истолкование выступления Одиссея только лишь как пример защиты необходимого во всяком деле единоначалия, нарушение которого было вдвойне опасно

<sup>3</sup> Ср. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л., 1976. С. 46 слл. – в книге, однако, крайность отрицания доведена до высшего предела. Подчеркивая значение «сил аристократической дисциплины и солидарности, к которым апеллирует Одиссей в своих увещаниях, обращенных порознь к царям и к народу», Ю.В. Андреев заключает: «В конечном счете сцена “испытания войска”, если рассматривать ее в логической связи с предшествующими событиями, воспринимается как свидетельство торжества аристократического начала над чисто монархическим» (с. 54). Более того, по мнению автора, «совершенно очевидно, что само понятие царства, равно как и тесно связанная с ним концепция самодержавной деспотической власти царя “милостью божьей”, чуждо сознанию Гомера как наследие давно угасшей культуры» (с. 55). Однако если даже согласиться, что упоминания о больших царствах микенского времени «автоматически» перенесены Гомером в свой эпос из предшествующей поэтической традиции, то едва ли такое механическое происхождение можно приписать высказываниям оценочного плана, какими именно и являются реплики Одиссея.

перед лицом врага<sup>4</sup>. В этом выступлении, равно как и в последующей сцене с Терситом – смутяном-демагогом, которого Одиссей укрощает ударом скипетра, – есть ряд характерных нюансов, особенный политический характер которых отрицать не приходится. Это, прежде всего, признание божественного характера и решающей роли за царской властью, в чем можно видеть росток монархической доктрины, заглохший, правда, с утверждением полиса, но пробудившийся снова с его кризисом на рубеже V–IV вв. до н.э. Это также и очевидное понимание всей деликатности отношений такой власти со знатью и демосом, понимание, несомненно учитывавшее возможность и иных политических вариантов помимо монархии.

В архаический период отголоски интереса к сильной единоличной власти заметны у Архилоха, Алкея, Солона, Феогида – современников расцветшей тогда старшей тирании. Их отношение к этой последней более или менее отрицательное, что объясняется их природным аристократизмом, а у Солона еще и принципиальной защитой порядка, опирающегося на закон, и абсолютным неприятием насилия. Но не все представители интеллектуальной элиты в век архаики относились к единоличной власти отрицательно. Подтверждением тому может служить позиция Гераклита Эфесского. Вообще-то большинство высказываний Гераклита на политические темы не выходят за рамки традиционной аристократической оценки. В духе «добрых» старых времен он настаивает на праве «лучших», т.е. знатных людей, в силу их заслуг, владеть лучшей долей в государстве: «Более значительные смертные более значительные уделы получают» (DK 22 [12] B 25). И он пользуется любой возможностью, чтобы подчеркнуть превосходство немногих лучших – или, что особенно примечательно, даже одного – над массой остального народа: «Один для меня равен десяти тысячам, если он наилучший» (B 49). В последнем случае, несмотря на весь свой аристократизм, он готов даже признать право одного на власть: «И воле одного повиноваться – закон» (B 33).

Впрочем, в устах человека, который имел предками царей, да и сам в свое время обладал царским саном, такие заявления не должны выглядеть неожиданными. Подписаться под ними Гераклиту было тем легче, что и на самом деле, судя по его горделивым притязаниям на мудрость, таким одним, достойным власти, представляется ему прежде всего и главным образом он сам. Известную роль при этом могла играть и стойкая антипатия Гераклита к демократии своего родного города, антипатия, заставившая его удалиться от всех общественных дел, порвать отношения с согражданами и жить анахоретом. В плане же более общей философской перспективы замечательно, как релятивизм Гераклита, поставленный на службу его аристократическому честолюбию, предвосхищает в ряде аспектов позднейшие софистические доктрины, именно в утверждении безусловного превосходства вечного и всеобщего естественного начала – природы над имеющими лишь относительное значение человеческими установлениями (антитеза природа–закон), равно как и в провозглашении права лучшего на власть (у софистов это выльется в более резкое: «более сильному от природы надлежит властвовать»).

В собственно классический период, в русле развивающейся политической дискуссии, свою лепту в обсуждение преимуществ монархии внесли Геродот и, на свой лад, Еврипид. У Геродота – это беседа семи знатных персов о будущем устройстве их государства (III. 80–83). Внешне эта беседа, имевшая место после устранения персидской знатью самозванца Лже-Смердиса, выглядит как эпизод восточной истории, но по существу она представляет настоящий политический трактат, где в русле несомненно греческой политической мысли последовательно и всесторонне обсуждаются важнейшие формы государственного устройства: демократия, олигархия (или аристократия) и монархия, причем последняя и признается наилучшей. В свою оче-

<sup>4</sup> Так именно оценивал эту сцену американский этнограф и историк первобытного общества Льюис Морган. См. *Морган Л.Г. Древнее общество / Пер. с англ. под ред. М.О. Косвена. Изд. 2-е. М., 1934. С. 144.*

редь, Еврипид устами своих героев нередко касается той же темы. Замечательна в этом плане словесная схватка афинского правителя Тесея и фиванского вестника в «Просительницах», поставленных в 421 г.: первый отстаивает здесь преимущество народоправства, второй – единодержавия (Suppl. 399–455). Впрочем, как у Еврипида, так и у Геродота трудно определить степень оригинальности. В их рассуждениях видно уже влияние новой социологической философии, чье развитие связано с именами софистов Протагора, Горгия, Продика, Гиппия и др.

Именно у софистов в рамках развитой ими политической теории получила свое формирование концепция единоличной авторитарной власти как закономерное следствие естественного (природного) крайнего индивидуализма<sup>5</sup>. Действительно, софистическая философия, провозглашая единственным критерием истины человеческий разум, что, конечно, с первого взгляда, выглядело чрезвычайно привлекательным, формулировала затем, отталкиваясь от этого принципа, в высшей степени релятивистские, а по существу даже нигилистические, антисоциальные представления об относительности всего сущего, об условности всех человеческих установлений, начиная с государственных форм и кончая религией, о коренном противополжности природы и закона.

Сколь привлекательной и в то же время сколь опасной была философия софистов, легко представить себе, сопоставив два знаменитых высказывания Протагора. «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют», – провозглашал Протагор (DK 80 [74] B 1, пер. А.О. Маковельского), и в этом его заявлении нельзя не почувствовать глубокой убежденности в безграничных возможностях человеческого разума, имеющего как будто бы право пренебречь любыми догмами, навязанными ему традицией или верою, и полагаться только на себя. Но когда Протагор и в самом деле подвергает сомнению веру в богов и заявляет: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни» (B 4), – то это его заявление, сколь бы ни было оно логическим следствием исповедуемого им культа разума, уже не представляется в такой же степени безусловным, поскольку подрывает важные устои человеческого общества – веру и мораль, на которых оно покоится не менее, чем на положениях чистого разума.

Обоснованию этих опасных для традиционного порядка положений служила и разработанная софистами риторика, в которой они видели не средство отыскания истины, а только лишь орудие убеждения (ср. слова Горгия у Платона: «Риторика есть творец убеждения» (Gorg. 453 a, 455 a).

Равная нормы человеческого общежития под обычаи дикой природы, софисты единственными реальными ценностями признавали силу, искусство (в смысле совокупности технических приемов) и успех, что стало основанием для провозглашенного ими принципа: сильному от природы надлежит властвовать (см. изложение этого

<sup>5</sup> Свидетельства о жизни и учении и фрагменты из сочинений софистов собраны в известной хрестоматии Г. Дильса и В. Кранца (*Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker*. В., 1903. 13. Aufl. – 1968). Русский перевод: *Маковельский А.О. Софисты*. Вып. 1–2. Баку, 1940–1941. Из специальных работ о софистах важны также: *Гиляров А.Н. Греческие софисты, их мировоззрение и деятельность в связи с общей политической и культурной историей Греции*. М., 1888; *Жебелев С.А. Греческая политическая литература и «Политика» Аристотеля // Аристотель*. Политика. М., 1911. С. 398–412; *Чернышев В.С. Софисты*. М., 1929; *Фролов Э.Д. Факел Прометея: очерки античной общественной мысли*. Изд. 2-е. Л., 1991. С. 154–164; *Dupréal E.E. Les sophistes: Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippas*. Neuchatel, 1948; *Untersteiner M., Baitegazzore A. I sofisti*. V. I–IV. Firenze, 1949–1962 (новое комментированное издание свидетельств и фрагментов); *Untersteiner M. The Sophists*. Oxf., 1954; *Guthrie W.K.C. The Sophists*. Cambr., 1971; *Kepferd G.B. The Sophistic Movement*. Cambr., 1981; сборник статей – *Sophistik / Hrsg. von C.J. Classen (Wege der Forschung, Bd 187)*. Darmstadt, 1976. Специально о развитии монархической идеи у софистов: *Strohacker K.F. Zu den Anfängen der monarchischen Theorie in der Sophistik // Historia*. 1953/54. Bd II. Ht 4. S. 381–412.

принципа в речи Калликла в том же диалоге Платона – Gorg. 483 с–484 а). Именно этот принцип и стал служить идеологическим обоснованием возрождавшихся в греческом мире на рубеже V–IV вв. тираний, если, конечно, их носители вообще нуждались в каком-либо духовном обосновании своей власти. Последняя оговорка не должна, однако, восприниматься как обязательная или безусловная, поскольку никакой режим, даже из числа самых авторитарных, не может позволить себе роскоши обойтись без идеологического обоснования или прикрытия. Поэтому добавим теперь несколько подробностей относительно политиков, предтеч тираний или собственно тиранов, которые были – или могли быть – воодушевлены новой мудростью софистов.

Философия софистов родилась во вполне определенной социальной среде, под воздействием вполне определенных факторов. Что речи софистов, подобных платоновскому Калликлу, не были пустым звуком, что в Элладе конца V в. не было недостатка в суперменах, томимых такою же жаждою личного успеха и власти, как и некоторые герои Еврипида (мы имеем в виду, к примеру, Этеокла в поставленной в 411 г. трагедии «Финикиянки»), – это факт, не требующий особых доказательств. Достаточно сослаться на примеры афинянина Алкивиада и спартанца Лисандра, бывших на пути к единовластию, а затем на еще более разительные примеры решившегося на переворот Гермократа Сиракузского и также решившихся и, более того, достигших желанной цели Дионисия Старшего в Сиракузах и Крития в Афинах<sup>6</sup>.

Все эти политики были проникнуты неукротимым стремлением к первенству и власти, сходным с представлениями софистов о праве сильного на власть, и если чем и отличались друг от друга, то лишь решимостью идти до конца. У Алкивиада и Лисандра этой решимости так или иначе не хватило, что и обусловило их уход с политической авансцены: первого – еще до завершения Пелопоннесской войны (407 г.), а второго – вскоре после ее окончания (402 г.). Критий же, наоборот, отличался последовательностью сверх всякой меры, при поддержке спартанцев достиг в своем городе тиранического положения, но безудержным насилием сам подготовил себе быструю гибель (404/3 г.). В Сиракузах Гермократ после некоторой проволочки пошел на риск, но не рассчитал своих сил и погиб (407 г.), и только Дионисий сумел соединить общее свое влечение к власти с трезвым политическим расчетом и, таким образом, добился прочного успеха (405 г.). Этот успех политика, сумевшего на долгие годы утвердиться у власти в Сиракузах и даже, более того, стать строителем нового политического единства – Сицилийской державы, знаменовал не только торжество новой политической доктрины над традиционным полисным правом и моралью, но и решительный разрыв с самою формою полисного государства, – разрыв, которому новая идеология и теория содействовали самым непосредственным образом.

Действительно, у всех только что названных политиков нового стиля можно обнаружить помимо природного честолюбия еще и соответственный духовный импульс, взлелеянный полученным в юности образованием, более или менее тесным общением с учителями новой политической мудрости – софистами и Сократом, более или менее близким приобщением к новой философии и риторике. Для афинян Алкивиада и Крития, буквально варившихся в котле новых идей, это прямо и выразительно засвидетельствовано источниками (см., в частности, у Ксенофонта в «Воспоминаниях о Сократе» – I. 2. 12 слл.). Но и для спартанца Лисандра нет недостатка в свидетельствах, демонстрирующих стиль поведения и устремления сходного типа, продиктованные все тем же природным честолюбием, отшлифованные все тем же современным образованием, все теми же модными идеями.

<sup>6</sup> Здесь предлагается только суммарная характеристика названных избранных персонажей. Более подробный рассказ о них и развернутую оценку их деятельности можно найти в книге: Фролов. Греция в эпоху поздней классики... См. здесь, в частности: для Алкивиада и Лисандра – с. 71 слл. (часть II, раздел 1); для Гермократа и Дионисия Старшего – с. 291 слл. (часть III). Для Лисандра см. также Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб., 2001. С. 351 слл. (глава VI). Что касается Крития, то о нем речь подробнее пойдет ниже.

Сошлемся хотя бы на задуманную Лисандром реформу царской власти в Спарте, реформу, которая должна была подвести легальное основание под его авторитарное положение. Краткие упоминания об этой интриге можно найти у Аристотеля (Pol. V. 1. 5. 1301 b 19–20; 6. 2. 1306 b 31–33), более подробные рассказы – у Диодора, Плутарха и Корнелия Непота (Diod. XIV. 13; Plut. Lys. 24–26; 30. 3–5; Ages. 8. 3 sq.; 20. 3–5; Nepos. Lys. 3). По существу речь шла о подготовке им настоящего государственного переворота. При этом показательно было намерение Лисандра использовать чтимые всеми святилища и оракулы для вящего воздействия на умы сограждан при проведении задуманной реформы. В этом, несомненно, проявилось характерное для софистически образованных людей рационалистическое, если не сказать – утилитарное отношение к религии.

Вообще подготовка Лисандром своего *coup d'état* поражает обилием всякого рода сложных и продуманных ухищрений. Насколько обращение к ним не было со стороны Лисандра случайностью, как высоко он ценил здесь помощь профессиональных знатоков политической премудрости – софистов и как близок был с некоторыми из них, видно из того, что речь, которую он намеревался произнести перед гражданами Спарты в защиту своего проекта, составил для него именно один из таких специалистов – Клеон Галикарнасский (Plut. Lys. 25).

Равным образом и для двух знаменитых сиракузян – Гермократа и Дионисия – мы обладаем указаниями об их сопричастности интеллектуальной жизни и современной философии. Так, относительно Гермократа можно утверждать, что он получил хорошее специальное образование. Об этом можно заключить на основании его репутации – весьма высокой – оратора и военачальника (свидетельства Фукидида, Ксенофонта и Платона), а также из того, что он даже других брался обучать ораторскому и военному искусству (см. у Ксенофонта в «Греческой истории». I. 1. 30 сл.).

В свою очередь, для характеристики духовного облика Дионисия важны не только общие замечания некоторых авторов о полученном им хорошем образовании (в частности, у Цицерона в «Тускуланских беседах». V. 22. 63), но и более конкретные свидетельства – о его качествах превосходного оратора, обнаружившихся с самого начала (см. у Диодора в книгах XIII и XIV описания его выступлений перед народом во время борьбы за власть и перед началом второй войны с карфагенянами); о позднейших его увлечениях и интересах в области поэзии, музыки, истории и вместе с тем о внимании к точным, техническим, прикладным дисциплинам – строительному делу, военной технике и даже медицине; наконец, о ярко выраженном (как и у Лисандра) рационалистическом, зачастую цинично-потребительском отношении к религии, – все, по-видимому, указывающее на большое влияние господствовавшего тогда в области образования софистического направления.

Под этим влиянием, а еще больше, конечно, под непосредственным воздействием окружающей среды и обстановки – империалистских столкновений держав, внутренних социально-политических распрей, честолюбивых происков отдельных политиков – завершилось формирование природы Дионисия. Это была удивительно современная личность подстать тому выработанному софистикой идеальному типу, который нашел столь яркое выражение в образе эврипидовского властолюбца Этеокла и в реальных фигурах Алкивиада, Крития, Лисандра, с теми же, а может быть, и еще сильнее развитыми характерными качествами – ненасытной жаждой деятельности и успеха, неукротимым стремлением к первенству и власти, готовностью на этом пути всегда противопоставить традиционным политическим и нравственным нормам свое право сильной личности.

Но более всего любопытна в интересующем нас плане фигура афинянина Крития, поскольку она в наибольшей степени воплотила в себе единство интеллектуальных и политических устремлений, характерных для верхушки греческого общества в период начавшегося кризиса. Интересная сама по себе, тема Крития к тому же бесспорно актуальна и в историографическом плане. В зарубежной научной литературе, посвященной Критию, преобладает односторонняя, как мы полагаем, апологети-

ческая установка, а в отечественной и вовсе нет современного монографического исследования, могущего претендовать на полнокровное представление личности Крития и ее всестороннюю оценку<sup>7</sup>.

## 1. ДРЕВНЯЯ ТРАДИЦИЯ И МНЕНИЕ НОВЫХ КРИТИКОВ О КРИТИИ

Традиция древних о Критии в целом характеризуется отрицательным акцентом. Кажется, только Платон пытался как-то спасти репутацию Крития положительными суждениями. «Что касается Крития, – читаем мы в начале “Тимея”, – то уж о нем-то все в Афинах знают, что он не невежда ни в одном из обсуждаемых нами предметов (Κριτίαν δὲ πού πάντες οἱ τῆδ' ἴσμεν οὐδενὸς ἰδιώτην ὄντα ὀνλέγομεν)» (Tim. 20 а. Пер. С.С. Аверинцева).

Прочие же античные авторитеты судили о Критии более или менее негативно. Так, Ксенофонт вполне определенно отзывался отрицательно как о занятиях Крития философией, так и о его политической деятельности. Занятия Крития философией и его общение с Сократом, поясняет Ксенофонт, имели в виду не приобщение к высоким нравственным истинам, а лишь совершенствование в диалектике и риторике как необходимое условие последующей успешной политической карьеры. В этом смысле им двигали те же соображения, что и в случае с другим знатным слушателем Сократа и приятелем Крития – Алкивиадом. «Это видно было по их действиям: как только они почувствовали свое превосходство над товарищами, они сейчас же отпрянули от Сократа и предали государственной деятельности, ради которой они и примкнули к Сократу» (Xen. Mem. I. 2. 12 sqq. Пер. С.И. Соболевского).

Столь же решительно осуждает Ксенофонт и политическую деятельность Крития в бытность его одним из членов – а фактически главой – правившей в Афинах при поддержке спартанцев комиссии Тридцати (после поражения в Пелопоннесской войне, в 404–403 гг. до н.э.). Живописуя террор, установленный в Афинах Тридцатью, их расправы с политическими противниками и просто богатыми людьми, чье состояние им приглянулось, Ксенофонт и от собственного имени и устами умеренного олигарха Ферамена, которому он явно симпатизирует, квалифицирует правление Тридцати и поведение их лидера Крития как жесточайшую и беспринципную тиранию (Xen. Hell. II. 3–4).

Этот режим и в самом деле ничего общего не имел с той правильной аристократией или олигархией спартанского образца, сторонником которой объявлял себя Критий и на которую равнялась большая часть знатной и состоятельной верхушки афинского общества, включая и самого Ксенофонта. Однако как в философии, так и в политике Ксенофонт дорожил высокими сословными принципами, привитыми ему с детства и развитыми в школе Сократа. В философии ему дорога была ее нравственная сторона (что бы ни говорили новейшие его критики, отказывающие ему в способности постичь учение его наставника Сократа), а в политике он всегда оставался привержен корпоративным интересам аристократии – и в юности, когда его кумиром была Спарта, и в старости, когда его увлекла идея и образ великой монархии<sup>8</sup>. Думается, что именно благодаря Ксенофону и самый режим Тридцати, и его

<sup>7</sup> Свидетельства древних о Критии и фрагменты его сочинений собраны в хрестоматии Г. Дильса и В. Кранца: *Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker*. 9. Aufl. Bd II. В., 1959. С. 371–399 (Kapitel 88 [81]). Русск. пер.: *Маковельский А.О. Софисты*. Вып. 2. Баку, 1941. С. 55–79 (гл. X). Что касается научной литературы, то в зарубежной историографии на роль более или менее полных обзоров жизни и деятельности Крития могут претендовать: *Nestle K. Kritias. Eine Studie // Neue Jahrbucher für das klassische Altertum*. 1903. Bd XI. S. 81–107, 178–199; *Diehl E. Kritias (5) // RE. Bd XI. Hbhd 2. 1922. Sp. 1901–1912*; *Blumenthal A. von. Der Tyrann Kritias als Dichter und Schriftsteller*. Stuttgart – Berlin – Leipzig, 1923; *Nemeth G. Kritias und die Utopie der Tyrannen // ААН*. 2000. 40. С. 357–366; *Morison W. Critias (c. 460–403 B.C.) // The Internet Encyclopedia of Philosophy*. 2001 ([www.utm.edu/research/iep/c/critias.htm](http://www.utm.edu/research/iep/c/critias.htm), 8 с.). В русской литературе есть только одна работа такого рода, теперь уже безнадежно устаревшая: *Ведров В. Жизнь афинского олигарха Крития*. Магистерская дис. СПб., 1848.

<sup>8</sup> О мировоззрении и политических взглядах Ксенофонта подробнее см. *Фролов*. Факел Прометей... С. 294 слл.

глава Критий обрели тот зловещий образ, который стал для их памяти страшным клеймом, которое уже нельзя было стереть.

Так или иначе, но чуть позже Аристотель, очевидно под влиянием установившегося *opinio communis*, не высказывая определенной оценки, в рассказе об афинских смутах в конце V в. до н.э. счел за лучшее не упоминать о Критии (в «Афинской политике»), а в другом месте отметил раннее забвение Крития в греческом мире. Поясняя одно из правил риторики, Аристотель писал: «Факты, всем известные, нужно только напоминать; поэтому для большинства таких случаев рассказ вовсе не нужен, например, если желаешь восхвалять Ахилла, так как его подвиги всем известны и ими нужно только воспользоваться. А если [ты хочешь восхвалять] Крития, то рассказ необходим, потому что немногие знают о нем» (Rhet. II. 16, 1416 b 26–29. Пер. Н. Платоновой). Здесь интересно допущение самой возможности восхваления такой зловещей фигуры, как Критий. Для философа, симпатизировавшего более или менее консервативным формам правления, это не так уж неожиданно. Однако показательно, что Аристотель так и не решился на реализацию этой возможности (например, в соответствующем разделе «Афинской политики»); вместо этого ему пришлось признать состоявшееся за сравнительно короткое время (за каких-нибудь две трети века) полное забвение имени возможного его героя среди соотечественников.

А еще позднее Филострат (рубеж II–III вв. н.э.) суммировал мнение древних следующим образом: судя по содеянному Критием, его должно считать «самым дурным из всех людей, имена которых покрыты бесславием» (κακώτατος ἀνθρώπων ἐμοίγε φαίνεται ζυμψάντων, ὧν ἐστὶ κακίαι ὄνομα). Не спасает его репутации ни мужественная смерть в бою, ни отличавшееся блеском литературное творчество. Последнее, впрочем, именно потому что оно не согласуется с поведением Крития, оставляет впечатление речи с чужого голоса. «Ведь если слово не согласуется с поведением человека, то мы будем считать, что звук издается чужим голосом, подобно тому как это делают флейты» (Philostr. Vitae soph. I. 16. Пер. А.О. Маковельского с некоторыми изменениями).

Правда, вторая софистика в лице Герода Аттика (в век Антонинов) возродила интерес к Критию. По свидетельству того же Филострата, Герод «усердно занимался всеми древними авторами, особенно же сильно он был привязан к Критию и ввел его, дотоле находившегося в пренебрежении и не пользовавшегося вниманием, в общее употребление эллинов» (Vitae soph. II. 1. 14). Однако, как представляется, эта инициатива была обусловлена не живой симпатией истинного ценителя атицизма, а антикварным увлечением и причудой влиятельного мецената.

Еще раз, однако, заметим, что на этом общем негативном по отношению к Критию фоне странным выглядит положительное суждение о нем такого столпа нравственной философии, как Платон. При этом, как справедливо указывает У. Морисон, это отношение заявлено Платоном, пусть в сдержанной форме, неоднократно не только в «Тимее», но и в некоторых других диалогах, где Критий, аттестуемый как высокообразованный, достойный отпрыск старинной аристократической семьи, выводится в качестве одного из главных участников беседы. Более того, в двух диалогах, «Критии» и «Тимее», Критий выступает в качестве главного экспонента столь важного для платоновской концепции государства предания об Атлантиде<sup>9</sup>.

Так в чем же причина такого особенного отношения Платона к Критию? Думается, что для этого было, по крайней мере, два основания. Одно – близкое родство: Платон приходился Критию племянником (или внучатым племянником), а в аристократической среде, к которой они оба принадлежали, это обязывало к обоюдной, насколько это было возможно, лояльности. Вторая причина могла заключаться в известной духовной близости, именно сочувственном отношении Платона если и не буквально к тираническому режиму, который возглавлялся его старшим сородичем, то к тирании в принципе. Нам уже приходилось обосновывать это положение в рамках специально-

<sup>9</sup> Morison. Critias... P. 3–4.

го доклада, и здесь мы позволим себе воспроизвести суть представленного тогда рассуждения<sup>10</sup>.

Ведущей нитью этико-политического учения Платона является развитая им анти-теза лучшего и худшего, образцовой идеальной сущности и более или менее отступающих от нее явлений реальной (по Платону – скорее кажущейся) действительности. При этом центральным звеном всей концепции выступает положение о справедливости, которая служит определяющим принципом и личного поведения, и государственного порядка, и сама, в свою очередь, определяется надлежащей гармонией изначальных элементов.

Логическим следствием этого оказывается ряд важных социо-психологических и политических дефиниций. В соответствии с глубинным принципом своей этико-политической теории, заключающимся в признании соответствия души человеческой и государственного организма, Платон в трактате «Государство» дает определение лучшего, идеального, и худших, отступающих от идеала типов государства и человека. Лучший тип государства – царская власть или аристократия, которой соответствует и определенный тип человека – аристократический. Все остальные формы государства – худшие. Вот они в порядке отдаления от идеала, от справедливости, и возрастаания порока: государственный порядок, характеризующийся безудержным стремлением к почестям и привилегиям, он же тимократия или тимархия; государство, где определяющим принципом является имущественный ценз и, соответственно, властвуют немногие богачи, т.е. олигархия; государство, где царят всеобщая уравниловка и разнузданность, т.е. демократия; и, наконец, государство, где царит произвол одного, т.е. тирания. Соответственно характеризуются четыре типа человека: тимократический, олигархический, демократический и тиранический.

Наше внимание привлекает последняя политическая форма – тирания, и привлекает именно парадоксальностью своей трактовки у Платона. С одной стороны, она вполне определенно характеризуется как самая худшая, далее всех отстоящая от идеала форма. Подчеркнем обоснованность этой отрицательной характеристики: она вполне согласуется с негативным опытом как греческого общества в целом, испытавшего на себе дурные последствия так называемой младшей тирании, в таких, например, ее формах, как режим Тридцати в Афинах или правление двух Дионисиев – отца и сына – в Сицилии, так и самого Платона, в молодости пережившего ужасы террористического правления Тридцати, а затем, уже в зрелом возрасте, близко наблюдавшего насилие и произвол сиракузских владык во время трех своих путешествий в Сицилию (при Дионисии I в 388 г. и еще дважды при Дионисии II, в 366 и 361 гг.). С другой стороны, поразительным является обращение Платона к этой худшей форме при поиске наиболее эффективного средства для реализации своего политического идеала, для построения совершенного типа государства, покоящегося на справедливости, – постольку, конечно, поскольку тираническое правление может быть сопряжено с истинным знанием, с философией, и, так сказать, заряжено высокой политической мудростью.

Надо особенно подчеркнуть, что это обращение Платона к тирании не было случайностью – оно проходит через все этапы его творческой деятельности, через разновременные, но одинаково значимые произведения. Так, уже в «Государстве» в общей форме утверждается, что государствам не избавиться от зла, и не увидит света конструируемая в этом сочинении идеальная форма, «пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино – государственная власть и философия» (Resp. V. 473 d. Пер. А.Н. Егунова; ср. также ниже VI. 499 b–c).

Совершенно идентичный взгляд, и почти в тех же самых выражениях, будет высказан и позднее, в письме VII, относящемся уже к концу 50-х годов IV в., к концу жизни философа. Далее, в диалоге «Политик» проводится важная мысль, что уме-

<sup>10</sup> См. Фролов Э.Д. Платон и тирания // Интеллектуальная элита античного мира. Тез. докл. научн. конф. СПб., 1995. С. 31–39.

ние управлять свойственно не большинству граждан, а лишь немногим или даже, скорее, одному и что искусство управления выше предписаний законов, выше непосредственной воли граждан, чем достигается – на это нельзя закрывать глаза – обоснование целесообразности сугубо авторитарной, монархической и даже тиранической формы правления (см. Polit. 291 с и далее).

Наконец, в «Законах» поставлены как бы точки над «i» и уже не в общей форме, а прямо и точно провозглашается, что именно тирания, более чем какая-либо другая форма, может стать орудием перехода к идеальному государству (Leg. IV. 709 b–712 b). Платон рассуждает так: пусть явится тиран, молодой, великодушный, способный к учению; пусть судьба сведет его со славным законодателем, и правитель согласится действовать в духе идей мудреца; при безграничной власти и возможности воздействовать на своих подданных в нужном направлении тирану не составит труда провести необходимое радикальное переустройство. Особенно подчеркивается в этом плане преимущество крайнего, неограниченного единовластия: «поскольку, чем меньше число лиц стоит у власти, тем она крепче, как, например, при тирании, то именно в этом случае всего быстрее и легче совершается переход» (пер. А.Н. Егунова).

Спрашивается: как осмыслить такое парадоксальное сближение у Платона форм наихудшей и наилучшей? Насколько оправданным и корректным было для философа – поборника высоких нравственных и политических истин выдвигание тирании в качестве предпочтительного орудия построения идеального или близкого к идеалу государства? Тут есть над чем поразмыслить. Решимся утверждать, что здесь мы сталкиваемся с форсированным, т.е. по существу не обоснованным, решением проблемы. Именно допускается маловероятная возможность, что под воздействием философии состоится радикальное перерождение носителя авторитарной власти из обычного властителя в совершенного правителя (еще менее вероятный вариант – приход к власти истинного философа), следствием чего будет и более общая трансформация государства из наихудшего в наилучшее.

Действительно, насколько было обоснованным допущение такой возможности? Конечно, в ту пору многим бросались в глаза известные преимущества сильной монархической власти перед более рыхлой демократией. Отсюда – известный монархизм таких мыслящих представителей полисной элиты, как, например, Ксенофонт и Исократ; очевидно, этим мог быть обусловлен известный интерес и склонность к монархии также и Платона. Однако, как показывал опыт, надеждам министелей на обращение земных владык в свою высокую веру не дано было сбываться, а прямое сближение их с тиранами и вовсе оказывалось чревато большим личным риском. Тут уж нет ничего ярче примера самого Платона: его паломничества ко двору сицилийских тиранов, его старания зарядить их идеями высокой философии были безрезультатны; мало того, он сам каждый раз оказывался на краю гибели.

Так что же заставляло его до конца дней своих уповать на обращение тирана? Нам представляется, что объяснение здесь надо искать в природном честолюбии Платона, роднящем его с такими бесспорно честолюбивыми натурами, как Алкивиад или Критий, в обусловленном этим повышенном интересе и внутренней симпатии к сильной единоличной власти. Это политическое влечение, едва ли оправданное у мыслителя, действовало наперекор всем его высоким интеллектуальным и нравственным устремлениям и заставляло питать иллюзии насчет возможности сочетать низменную власть с высшей правдой. Однако эти иллюзии не делают чести философу: не давая никакой надежды на реализацию замысла, они лишь компрометируют высокий смысл заявленной программы; во всяком случае, они подчеркивают невозможность ее осуществления каким бы то ни было достойным способом.

Нам кажется, что этот пассаж о Платоне не будет лишним в статье, посвященной Критию. В конце концов, они принадлежали к одному аристократическому клану, вращались в одних и тех же интеллектуальных кружках, оба были слушателями великого властителя дум Сократа и, стало быть, фигура одного может оттенять фигуру другого. Но как раз последнее оказывается не столь простым. В сравнении с великим философом,

посвятившим свое творчество поиску идеальной государственной формы, его сородич бесспорно предстает злодеем, реализовавшим худшую из возможных форм государства – тиранию. Однако примечательным оказывается не слишком заметное с первого взгляда, но глубокое и упорное влечение к этой форме и самого благородного мыслителя, личным своим опытом подтверждавшего привлекательность и безграничность того порока, который эвфемистически именуется честолюбием. Оглядываясь на пример Платона, какого еще подтверждения надо искать тому очевидному факту, что стремление честолюбцев к единоличной власти, нашедшее свое крайнее воплощение в Критии, было характернейшей чертой охваченного разложением классического общества!

Возвращаясь к вопросу об оценке Крития в древности, заметим, что вопреки твердой однозначно-отрицательной позиции таких авторитетов, как Ксенофонт и Филострат, распространенным было то именно мнение, против которого выступал Филострат, – что Критий был фигурой непростой, что в разных областях своей деятельности или творчества он проявляется по-разному, что, наконец, если в сфере реальной политики он выступал злодеем, то это не должно мешать признанию его выдающегося таланта как мыслителя и литератора.

Эта точка зрения распространена и в новое время. Мнение новых критиков, в какой-то момент подытоженное Э. Дилем и А. Блюменталем (1922–1923 гг.), сводится именно к признанию раздвоенности натуры, или даже двуликости Крития (*Doppelnatur, Doppelgesichtigkeit*), понимаемой, впрочем, не столько в плане радикального противоположения политической деятельности и литературного творчества, сколько в степени совершенства в разных областях творчества<sup>11</sup>. Что же касается названного радикального противоположения, то в этом плане показательна упомянутая выше работа У. Морисона. Свою статью о Критии он начинает с указания на завидную многосторонность афинского олигарха, бывшего одновременно философом, ритором, поэтом, историком и политическим лидером. Отметив широту и продуктивность литературного творчества Крития, он признает его «одной из самых противоречивых и загадочных фигур в Афинах V в. до Р.Х.» («one of the most controversial and enigmatic figures of fifth-century B.C. Athens»).

В середине статьи, отметив расхождение мнений Ксенофонта и Платона, Морисон особенно подробно останавливается на Платоне, который, как он подчеркивает, в своих диалогах представляет Крития «как утонченного и хорошо образованного члена одной из древнейших и наиболее выдающихся аристократических семей в Афинах и как неперемного участника афинской философской и культурной жизни». В заключение Морисон касается вечного вопроса о радикальной раздвоенности облика и натуры Крития, решая его в откровенно апологетическом ключе: «Его главенство в правлении Тридцати, одном из самых темных, кровавых моментов в афинской истории, привело к затмению его литературного и философского творчества, но Критий вовсе не был заурядным деспотом-головорезом (but Critias was no ordinary despotic thug). Отпрыск одной из самых знатных афинских семей, высоко образованный и культурный человек, писатель, подвизавшийся как в поэзии, так и в прозе, сильный оратор, мужественный воин, Критий сам был, возможно, величайшей трагедией, когда-либо порожденной Афинами» («Critias was perhaps the greatest tragedy the city ever produced»)<sup>12</sup>.

Надо признаться, что эта позиция, занятая исследователями нового времени, не кажется нам удачной. Интерпретация новейшими учеными фигуры Крития, на наш взгляд, должна быть отнесена к разряду исторической романтики, падкой до реабилитации или даже возвеличения фигур исторических злодеев (можно указать на сходные случаи с Суллой или Катилиной). В особенности неубедительной выглядит концепция раздвоенности (или двуликости): в случае с Критием эта раздвоенность – мнимая. Литературное творчество Крития вполне согласуется с его деятельностью политика, если только судить не по блеску формы, а по сути развитых им положе-

<sup>11</sup> *Diehl*. Critias. Sp. 1911; *Blumenthal*. Der Tyrann Critias... S. 32.

<sup>12</sup> См. *Morison*. Critias... P. 1. 3. 7.

ний, по главным духовным тенденциям, проникающим его произведения. Это наше убеждение мы постараемся обосновать, последовательно рассматривая и сопоставляя политическую деятельность Крития с его литературным творчеством.

Для выполнения поставленной задачи у нас есть необходимые материалы. Вопреки мнению Аристотеля память о Критии не исчезла вовсе, и в античной традиции сохранилось довольно свидетельств о его жизни и творчестве. Собрание этих свидетельств, как было указано, с исчерпывающей полнотой представлено в хрестоматии Г. Дильса и В. Кранца «Фрагменты досократиков», а их русский перевод – в сборнике А.О. Маковельского «Софисты». Нет недостатка и в новейшей научной литературе, которая доставляет не одни только импульсы для полемики; напротив того, именно трудами исследователей нового времени уточнены или установлены многие факты биографии Крития, заложены прочные, солидные основания для уточнения также и более общих суждений и оценок его личности.

## II. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРИТИЯ

Критий, сын Каллесхра, афинянин, родился около 460 г. до н.э. (дата определяется приблизительно)<sup>13</sup>. Происходил он из старинного, знатного и богатого дома. Его аристократическое происхождение надо подчеркнуть особо, поскольку оно не могло не повлиять на его политическую ориентацию. Родословную Крития исчисляет Диоген Лаэртский (III. 1), ведя его род от Дропида, брата Солона. При некоторых неточностях, на которые справедливо указывают новейшие исследователи (объявление Дропида братом Солона, вероятный пропуск двух поколений между Дропидом и дедом тирана, тоже Критием), главная линия представлена у Диогена Лаэртского верно<sup>14</sup>. Критий действительно происходил из древнего аристократического рода, представители которого пользовались известностью уже в VII в. до н.э. Заметим, что к боковой ветви этого рода принадлежал и Платон, который приходился тирану Критию то ли внучатым племянником, то ли просто племянником (ср. Diog. Laert. III. 1; Plat. Charm. 154 b).

Знатное происхождение Крития обусловило и соответствующее его воспитание и образование, с занятиями атлетикой и музыкой (Критий славился умением играть на флейте, *Chamael. ar. Athen. IV. 184 d*), с приверженностью к непрерывному атрибуту аристократического застолья – котабу (см. DK 88 [81] B 1. 2)<sup>15</sup>, а главное, с привитым с детства характерным преклонением перед кумиром всех греческих олигархов – Спартой. Подтверждениями тому служат: в политической деятельности Крития – подчеркнуто прокламированная ориентация на Спарту как на идеальный образец государства (ср. слова Крития у Ксенофонта: «Несомненно, наилучший государственный строй – это лакедемонский» – *καλλίστη μὲν γὰρ δῆλου δοκεῖ πολιτεία εἶναι ἡ Λακεδαιμονίων* – Xen. Hell. II. 3. 34), а в литературном творчестве – два трактата о государственном строе Спарты, один в стихах, а другой в прозе, с подчеркнутым восхвалением спартанских порядков и обычаев (DK 88 [81] B 6–9. 32–37).

По-своему показательны в этом плане близость и общение Крития с Сократом и Горгием, этими властителями дум тогдашней золотой молодежи (Xen. Mem. I. 2. 12 sqq.; Philostr. Vitae soph. I. 16; Ep. 73 Kayser). Впрочем, общение с Сократом, как это справедливо подчеркивается Ксенофонтом, длилось лишь до известного предела, поскольку Критий был заинтересован только в усвоении технических приемов риторики и диалектики, а не в глубоком постижении нравственного учения философа.

Оценивая природу и характер устремлений Крития, мы должны иметь в виду в первую очередь значение таких объективных факторов, как знатность, богатство и влияние, в сравнении с которыми образовательный момент играл подчиненную роль. Да и в этом последнем значении имело чисто интеллектуальное и риторическое совершенство, которое можно было получить у софистов вроде Антифонта и

<sup>13</sup> Diehl. Critias. Sp. 1902.

<sup>14</sup> Ibid. Sp. 1901 f. (с опорой на исследования И. Кирхнера).

<sup>15</sup> Morison. Critias... P. 3. 6.

Горгия. Недаром древние указывают на большую близость стиля Крития приемам названных новых учителей мудрости (DK 88 [81] A 16.17.19; B 40). Напротив, отчуждение от высоких истин нравственной философии Сократа было тем естественнее, что главной чертой натур вроде Крития было безмерное честолюбие, неукротимая жажда власти, которая толкала их, в нарушение аристократического кодекса чести (ἀρετή), к бескрайней спеси и насилию (ὕβρις). «При таких обстоятельствах, – заключает Ксенофонт цепь своих суждений об Алкивиаде и Критии, – величаясь родом (ὠκυωμένω μὲν ἐπὶ γένει), превозносясь богатством (ἐπληρμένω δ' ἐπὶ πλούτῳ), надменные благодаря своему влиянию (πεφουσημένω δ' ἐπὶ δυνάμει), испорченные многими лицами и сверх всего этого давно уже оставившие Сократа, что мудреного, что они стали высокомерными (τὶ θαυμάσιον εἰ ὑπερηφάνω ἐγενέσθη)?» (Mem. I. 2. 25).

Все вышеизложенное подготавливает нас к пониманию политической эволюции Крития: начав с общего неприятия демократии и преклонения перед аристократической Спартой, он примкнул затем к олигархическому движению, включившись в деятельность гетерий. Скоро, однако, под влиянием разных причин, а более всего в силу обострения социально-политической борьбы в Афинах, он из сравнительно умеренного сторонника олигархии Четырехсот превратился в правого экстремиста с тем, чтобы завершить свою политическую эволюцию оголтелым тираном.

В политической жизни Афин Критий впервые появляется в наших источниках в 415 г. до н.э., когда он оказался замешан в дело святотатцев-гермокопидов, во всяком случае оказался в числе тех, на кого донес Диоклид (Andoc. I. 47). Кстати, заметим, что Критий был в родстве с одним из главных фигурантов в этом деле – с Андокидом: Критий приходился ему дядей, будучи двоюродным братом его отца Леогора (ibid.). Хотя из дела святотатцев Критий вышел, по-видимому, не пострадав, все же остается подозрение, что он, как и Андокид, был связан с виновниками скандала – олигархическими гетериями.

Показательно, что несколькими годами позже он уже без всяких сомнений оказался в рядах антидемократического движения и дважды принимал участие в государственных переворотах, в результате которых к власти в Афинах приходили олигархические группировки крайне радикального характера, по существу бывшие корпоративными тираниями<sup>16</sup>.

И прежде всего необходимо отметить коренное сходство в обстоятельствах, которые обычно определяют рождение тирании, а тогда сыграли свою роль и в установлении режимов Четырехсот (в 411 г.) и Тридцати (в 404/403 г.). Действительно, местное олигархическое движение явилось лишь общим основанием для возникновения этих режимов, между тем как решающее значение имела крайне обострившаяся, после неудач во второй период Пелопоннесской войны, общественная обстановка. А непосредственный толчок исходил от людей, проникнутых честолюбием и эгоизмом не меньше, чем Алкивиад, и, как и он, готовых самым бесцеремонным образом использовать чрезвычайную ситуацию и легальные предпосылки для взятия власти в свои руки. Для таких людей революция под олигархическим лозунгом означала лишь способ удовлетворения личного стремления к власти. Соответственно и самое их правление имело много сходства с тиранией.

<sup>16</sup> Об олигархическом движении в Афинах во время Пелопоннесской войны подробнее см. Бузескул В.П. История афинской демократии. СПб., 1909. С. 327 слл. (новое изд. 2003 г. – с. 337 слл.); Hignett G. A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B. C. 2nd ed. Oxf., 1962. P. 168 f.; Hackl U. Die oligarchische Bewegung in Athen am Ausgang des 5. Jahrhunderts v. Chr. Diss. München, 1960 (реп.: Фролов Э.Д. // ВДИ. 1964. № 1. С. 168–172); Lehmann G.A. Oligarchische Herrschaft in klassischen Athen: zu den Krisen und Katastrophen der attischen Demokratie im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. Opladen, 1997. Для общей оценки режимов Четырехсот и Тридцати, особенно в плане сопоставления их с тиранией, очень важны суждения Г. Берве (Berwe H. Die Tyrannis bei den Griechen. Bd I–II. München, 1967; I. S. 209–212; II. S. 631–632). При рассмотрении истории этих режимов и роли в них Крития нами были использованы материалы из нашей работы о младшей тирании, недавно переизданной в рамках книги: Фролов. Греция в эпоху поздней классики... С. 102–109.

Это заметно уже в случае с режимом Четырехсот, несмотря на всю видимую конституционность, которой был обставлен их приход к власти<sup>17</sup>. Налицо были: насильственное устранение лидеров оппозиции, в частности наиболее авторитетного из них – Андрокла; фактическая узурпация власти не только с точки зрения прежней, в ходе переворота упраздненной, демократической конституции, но и вопреки новым только что заявленным установлениям; последующее правление в обстановке запугивания и террора; наконец, рано обнаружившееся стремление вступить в сговор с неприятелем и таким образом обрести поддержку против собственного же народа (переговоры с Агисом в Декелее и с эфорами в Спарте, укрепление Этионеи для последующего принятия туда спартанцев и пр.). Особенно злобещий оттенок придавал этому режиму характер самих правителей (таких, как Писандр, Фриних и их компаньоны), людей в значительной части совершенно беспринципных, ранее выдававших себя за горячих приверженцев демократии, затем ставших вождями олигархии, а в действительности более всего заботившихся об удовлетворении своих личных интересов (ср. уничтожающие отзывы современников: *Thuc.* VIII. 66. 1. 5; 89. 3; *Andoc.* I. 36; *Isocr.* XVI. 36).

Все эти признаки делают правление Четырехсот весьма схожим с тираническим. Вероятно, это ясно ощущалось уже современниками, а для вернувшейся к власти демократии это было бесспорным. Это видно из текста официального постановления, принятого по предложению Демофанта вскоре после восстановления демократии в 410/9 г. (см. *Andoc.* I. 96–98, где приводится самый текст постановления; ср. *Dem.* XX. 159; *Lycurg.* In *Leocr.* 124–127)<sup>18</sup>. В этом постановлении, составленном на основании более древних законодательных актов, вновь предусматривались санкции против тех, кто впредь стал бы ниспровергать демократию в Афинах или исполнять какую-либо должность по ниспровержению демократии. Все афиняне должны были поклясться в том, что они примут меры, чтобы покарать преступников смертью. В тексте клятвы в одной фразе как два равнозначных преступления упоминаются ниспровержение демократии и установление тирании: «Я убью и словом, и делом, и подачей голоса, и собственной рукой, если будет возможно, всякого, кто ниспровергнет демократию в Афинах, а также если кто после ниспровержения демократии станет исполнять какую-либо должность, а также если кто восстанет с целью сделаться тираном или поможет утвердиться тирану» (*Andoc.* I. 97).

При этом тем, кто заплатил бы жизнью за попытку покарать преступников, гарантировались посмертно такие же почести, как и знаменитым тираноубийцам Гармонию и Аристокитону (*ibid.* § 98). Кстати, примерно в это же время было принято решение, запрещавшее глумиться над памятью этих афинских героев, каковую вольность позволяла себе иногда древняя аттическая комедия (об этом запрещении см. *Huperid.* II. 3)<sup>19</sup>. Официальная тенденция к сближению антидемократического режима Четырехсот с тиранией нашла отражение и в речах ораторов, и в тогдашней литературе. Десять лет спустя Андокид в речи «О мистериях» прямо уже называет Четыреста тиранами (*Andoc.* I. 75).

Что касается Крития, то для него участие в перевороте 411 г. стало первым серьезным шагом в политическом возвышении. Самое это участие – причем, возможно, не на простых ролях – не обязательно подвергать сомнению; оно подтверждается свидетельством в одной из речей в корпусе Демосфена, что какая-то группа сторонников

<sup>17</sup> *Thuc.* VIII. 1. 47 sq.; *Arist.* *Ath. pol.* 29–33; *Diod.* XIII. 34. 2 sq.; 38. 1 sq.; *Plut.* *Alc.* 25–26. О правлении Четырехсот см. *Lenschau Th.* *Der Staatsstreich der Vierhundert* // *RhM.* 1913. LXXVIII. S. 202–216; *Cazy M.* *Notes on the Revolution of the Four Hundred at Athens* // *JHS.* 1952. LXXII. P. 56–61; *Lang M.* *Revolution of 400: Chronology and Constitutions* // *AJPh.* 1967. LXXXVIII. № 2. P. 176–187.

<sup>18</sup> См. также *Kirchner J.* *Demophantos* // *RE.* Bd V. Hbhd 9. 1903. Sp. 145–146; *Hignett G.* *A History of the Athenian Constitution.* P. 280; *Ostwald M.* *The Athenian Legislation against Tyranny and Subversion* // *TAPhA.* 1955. LXXXVI. P. 111; *Berneker E.* *Hochverrat und Landesverrat im griechischen Recht* // *Eos.* 1956. XLVIII. Fasc. 1. S. 120 f.; *Berve.* *Die Tyrannis...* Bd I. S. 210; Bd II. S. 631.

<sup>19</sup> Приурочивает запрещение к этому времени Г. Берве (*Die Tyrannis...* Bd I. S. 210; Bd II. S. 631).

олигархии во главе с Критием (οἱ περὶ Κριτίου) собиралась впустить спартанцев в Этеонею, специально устроенное для этой цели укрепление в Пирее (Dem. LVIII. 67; ср. Thuc. VIII. 90–92)<sup>20</sup>. Не исключено, что, примкнув к олигархам, он последовал примеру своего отца Каллесхра, на принадлежность которого к группе Четырехсот как будто бы есть указание в речи Лисия «Против Эратосфена» (Lys. XII. 66).

Трудно определить как степень непосредственного участия Крития в правлении Четырехсот, так и то, к какому именно направлению в олигархическом движении он принадлежал. Возможно, поначалу, как полагает Э. Диль, – не к самому радикальному, коль скоро после свержения Четырехсот он не подвергнулся преследованию и смог оставаться в Афинах<sup>21</sup>. Ведь известно, что около того времени (в 410 г.?) он с согласия влиятельного в ту пору лидера умеренных Ферамена внес предложение о возвращении из изгнания Алквиада (Plut. Alcib. 33) и в той же связи еще одно предложение – о преследовании post mortem злейшего врага Алквиада Фриниха. Над покойным был устроен суд, он был признан виновным в государственной измене и кости его были вырыты из могилы и выброшены за пределы Аттики (Lycurg. In Leocr. 113).

Однако после окончательного восстановления прежнего государственного строя дошла очередь и до Крития, которому вернувшаяся к власти демократическая группировка не собиралась надолго прощать связи с олигархическим движением. Очевидно, в 407 г. (по-видимому, после поражения афинян при Нотии и вторичного падения Алквиада и, во всяком случае, до процесса стратегов-победителей при Аргинусских островах) по предложению одного из лидеров радикальной демократии Клеофонта Критий был изгнан из Афин (Xen. Hell. II. 3. 15; Arist. Rhet. I. 15. 1375 b 32).

Время изгнания Критий провел в Фессалии, очевидно, именно тогда познакомившись с роскошным бытом фессалийской аристократии, о котором он повествует в своей «Фессалийской политике». Но он не только предавался роскоши: он постоянно участвовал в политических интригах, по одной версии – готовя демократический переворот при участии пенестов (Xen. Hell. II. 3. 36), а по другой – поддерживая крайнюю олигархию (Philostr. Vitae soph. I. 16). По первой версии он действовал сообща с неким Прометеем, происходившим, возможно, из Фер<sup>22</sup> и бывшим, может быть, предтечей ферских тиранов Ликофрона и Ясона<sup>23</sup>. В таком случае демократизм Крития носил только фасадный характер, между тем как на деле он участвовал в подготовке тирании<sup>24</sup>.

На родину Критий вернулся вместе с другими изгнанниками-олигархами после капитуляции Афинского государства в начале 404 г. К этому времени отчасти из-за обиды на преследовавших его демократов, отчасти же под влиянием фессалийского опыта, он окончательно складывается как политический экстремист, стремящийся к тирании. Создание и функционирование нового антидемократического режима теперь неотделимы от его целенаправленных усилий.

Сразу по возвращении в Афины он вновь включился в деятельность олигархических гетерий и стал членом созданного по спартанскому образцу комитета пяти эфо-

<sup>20</sup> Участие Крития в правлении Четырехсот служит предметом полемики. Значительная часть ученых принимает свидетельство древней традиции. См., в частности, *Kirchner J. Prosopographia attica. V. I–II. B.*, 1901–1903, № 8792; *Busolt G. Griechische Geschichte. 2. Aufl. Bd III. Tl. 2. Gotha, 1904. S. 1462. Anm. 3; Diehl. Kritias. Sp. 1903.* Отвергают: *Lenschau Th. Οι τριᾶκοντα // RE. 2. Reihe. Bd VI. Hbbd 12. 1937. Sp. 2363 f.; Avary H.C. Critias and the Four Hundred // CIPh. 1963. LVIII. № 3. P. 165–167; Berve. Die Tyrannis... Bd II. S. 631.* Доводы критиков не кажутся нам достаточно убедительными. Обоснованные возражения одному из последних (H.C. Avary, на которого ссылается Г. Берве) см. в ст.: *Adeleye C. Critias – Member of the Four Hundred? // TAPhA. 1974. 104. P. 1–9.*

<sup>21</sup> *Diehl. Kritias. Sp. 1903.*

<sup>22</sup> *Meyer Ed. Theopompus Hellenika. Halle, 1909. S. 251.*

<sup>23</sup> *Berve. Die Tyrannis... Bd I. S. 283.*

<sup>24</sup> Ср. *Nemeth G. Metamorphosis Critiae? // ZPE. 1988. 74. S. 167–180* (автор убедительно обосновывает последовательность Крития, действовавшего и в Афинах и в Фессалии как политик антидемократического, тиранического типа).

ров, готовивших при спартанской поддержке государственный переворот (Lys. XII. 43). Затем он вошел в новую правительственную комиссию Тридцати, руководил ею сначала вместе с Фераменом, а затем, после устранения последнего, единолично.

Именно благодаря Критию олигархический режим Тридцати стремительно перерос в корпоративную тиранию, осуществлявшую политику открытого террора<sup>25</sup>. Все существенные черты, которые обычно ассоциируются в нашем представлении с тиранией, были здесь налицо: приход к власти при прямой поддержке извне, вопреки законам страны и воле граждан; понятная поэтому и в дальнейшем ориентация на чужеземную помощь и прямая опора на присланный внешними покровителями гарнизон; разоружение большей части народа; правление в обстановке полнейшего произвола, при отсутствии для граждан каких бы то ни было конституционных гарантий; массовый террор, сопряженный с удовлетворением самых низменных страстей – чувства мести и жажды обогащения на чужой счет; наконец, характерная для правителей такого рода забота о подыскании себе, на случай возможного свержения, какого-либо убежища за пределами своего города (Тридцать приготовили себе такое убежище в Элевсине).

Представляя себе характер нового режима и его фактического лидера, вернемся еще раз к излюбленному уже в древности сопоставлению двух великих афинских честолюбцев Крития и Алкивиада. В облике Крития отчетливо выступают те же черты, что и у Алкивиада, только в более суровой и беспощадной обнаженности: то же огромное честолюбие, те же безмерный эгоизм и откровенно циническое отношение как к праву, так и к создавшим его людям, наконец, та же политическая беспринципность, делавшая для него, афинского аристократа, возможным не только участвовать в олигархическом правлении Четырехсот, но и заигрывать затем с демократией, в бытность свою в изгнании подстрекать к бунту фессалийских пенестов, а затем у себя на родине снова участвовать в антидемократическом движении, вносить предложение о возвращении из изгнания близкого ему в какой-то степени Алкивиада, а затем, в бытность уже главою новой тирании, добиваться его смерти от лакедемонян. Однако этим именно он и отличался от Алкивиада – степенью пренебрежения к общественному мнению, неукротимостью и жестокостью в борьбе за власть.

Как политик Критий проявил себя главным образом во время правления Тридцати. Тогда стало ясно, что, несмотря на свою принадлежность к аристократии, свои проолигархические и проспартанские симпатии, он был личностью сугубо тиранического плана, политиком, который в содружестве с небольшой группой себе подобных осознанно и безжалостно добивался подчинения всего общества своей воле<sup>26</sup>. В этой связи отметим, что столкновение Крития с Фераменом (Xen. Hell. II. 3. 15 sq.; Arist. Ath. pol. 36 sq.; Diod. XIV. 4. 5–5. 4) было выражением не только и даже не столько разногласий между двумя олигархическими направлениями, крайним и умеренным, сколько несовместимости двух взаимоисключающих принципов – тиранического и полисного (государственного)<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Для истории этого режима см. Xen. Hell. II. 3–4; Arist. Ath. pol. 34–40; Diod. XIV. 3–6 и 32–33; Plut. Lys. 15, 21; ср. Lysias. XII, XIII). О режиме Тридцати см. Жебелев С.А. О «тирании Тридцати» в Афинах // ВДИ. 1940. № 1. С. 27–33; Lenschau Th. Oй τριάκοντα // RE. 2. Reihe. Bd VI. Hbbd 12. 1937. Sp. 2355–2377; Salmon P. L'établissement des Trente à Athènes // ACI. 1969. XXXVIII. Fasc. 2. P. 497–500; Krentz P. The Thirty at Athens. Ithaca – London, 1982.

<sup>26</sup> О сущности проспартанских настроений Крития ср. мнение А. Блюменталя: «Пристрастие Крития к Спарте слишком основывалось на традиции, чтобы он мог найти здесь оправдание своему крайнему индивидуализму» (Blumenthal. Der Tyrann Kritias... S. 14 f.).

<sup>27</sup> О конфликте идей внутри группы Тридцати ср. также Bernpohl F. Flüggekämpfe unter Oligarchen: Xenophon II 3 // Anregung. 1991. XXXVII. S. 31–46; Ungern-Sternberg J. von. «Die Revolution frisst ihre eignen Kinder»: Kritias vs. Theramenes // Grosse Prozesse im antiken Athen / Hrsg. von L. Burckhardt, J. von Ungern-Sternberg. München, 2000. S. 144–156, 275–276. Статья Унгern-Штернберга особенно интересна использованием исторических параллелей. По его мнению, Ферамен пал жертвою собственной непоследовательности, сначала развязав олигархическую революцию, а потом попытавшись ее остановить. Та же судьба постигла героя Французской революции Дантона.

Современники, а возможно и сами действующие лица этой трагедии отдавали себе в этом отчет. У Ксенофонта Критий следующим образом отвечает Ферамену на его возражения против политики массового террора: «Честолюбивые люди должны стараться во что бы то ни стало устранить тех, которые в состоянии им воспрепятствовать. Ты очень наивен, если полагаешь, что для сохранения власти за нами надо меньше предосторожностей, чем для охранения всякой иной тирании: то, что нас тридцать, а не один, нисколько не меняет дела (εἰδὲ ὅτι τριάκοντά ἐσμεν καὶ οὐκ εἷς, ἥσσόν τι οἶεи <η> ἕσπερ τυραννίσκος ταύτης τῆς ἀρχῆς χρῆναι ἐπιμελεῖσθαι, εὐήθης εἶ)» (Xen. Hell. II. 3. 16. Пер. С.Я. Лурье)<sup>28</sup>.

Высказанное таким образом убеждение не было простой фразой; оно подкреплялось соответствующей политикой, жертвами которой становились отнюдь не только демократы, но и зажиточная и знатная верхушка города, так что, по свидетельству все того же Ксенофонта, многие граждане с недоумением и ужасом спрашивали себя: что же это за власть (ibid. § 17 – πολλοὶ δῆλοι ἦσαν συνιστάμενοί τε καὶ θαυμάζοντες ἕσοιτο ἡ πολιτεία)?

Развернутая критика этой политики дается у Ксенофонта в речи Ферамена, критика именно с позиций олигарха, возмущенного тем, что репрессии обрушивались не только на народную массу и ее вождей, но и на аристократическую часть граждан (ἄνδρες καλοὶ τε κάγαθοί, τὸ κράτιστον τῆς πόλεως), подрывая таким образом эту естественную для олигархического режима опору. Отмежевываясь от такой политики, которая ничего общего не имела с его представлениями об идеальном олигархическом строе, Ферамен предъявлял Критию обвинение в осуществлении именно тиранического правления (ibid. § 35–49, в особенности § 47 сл., с примечательным использованием для обозначения критикуемого режима глагола τυραννεῖν, а для обозначения его носителей – прилагательного τυραννικοί).

Это сходство с тиранией, которое ставили в упрек руководимому Критием правительству принципиальные олигархи типа Ферамена, и которое, если верить Ксенофону, не отрицал и сам глава нового режима, естественно воспринималось находившейся с самого начала в оппозиции демократией как безусловное тождество. С точки зрения демократов борьба с режимом Тридцати была равнозначна борьбе с тиранами. Позднее победившая демократия дала этому официальное выражение: инициаторы открытого выступления против Тридцати были удостоены высоких наград, а смысл их подвига был кратко изложен в следующих знаменательных стихах:

Древний афинянин народ даровал им награды за доблесть.

Первыми эти мужи подняли нас на борьбу.

С риском для жизни они сбросили иго тиранов,

Грубо поправших закон, правивших волей своей

(Aeschin. III. 187 и 190. Пер. Л.М. Глускиной)<sup>29</sup>.

Это, можно сказать, общее мнение о тираническом характере правления Тридцати нашло соответствующее отражение и в древней литературе, в частности, в

<sup>28</sup> Чтобы оценить по достоинству суждения, высказываемые Критием и Фераменом в их словесной дуэли в том виде, как это представлено у Ксенофонта (Hell. II. 3. 26–53), надо принять во внимание, что о событиях того времени Ксенофонт вообще рассказывает с ясностью и убедительностью очевидца. И если даже по тем или иным причинам он не мог лично присутствовать на процессе Ферамена, то, как убедительно доказывает С. Ашер, содержание выступлений он передает на основании надежных источников. Для переложения речи Крития он мог опираться на копию этой речи, изданной по распоряжению Крития сразу же после казни Ферамена для вящего своего оправдания, а для переложения выступления Ферамена мог воспользоваться показаниями какого-то очевидца, к которым добавил ряд известных ему общих сентенций Ферамена (Usher S. Xenophon, Critias and Theramenes // JHS. 1968. LXXXVIII. P. 128–135).

<sup>29</sup> Декрет о награждении граждан – борцов с тиранией Тридцати и эпиграмма, о которых упоминает Эсхин, сохранились и в эпиграфической версии. Фрагменты надписи, содержащей этот декрет и эпиграмму, см. Raubitschek A.E. The Heroes of Phyle // Hesperia. 1941. X. № 3. P. 284–295.

тех терминах, которые использовались писателями для обозначения этого режима. Так, уже Ксенофонт называл правление Тридцати тираническим, причем не только устами Ферамена, чей взгляд совершенно совпадал с его собственным, но и в своей авторской речи (Xen. Hell. II. 4. 1, вслед за рассказом об устранении Ферамена – οἱ δὲ τριάκοντα ὡς ἔξὸν ἤδη αὐτοῖς τυραννεῖν ἀδεῶς προεῖπον κτλ). Для самих Тридцати наряду с обычным у современников обозначением οἱ τριάκοντα (см. речи Андокида и Лисия, *passim*; Xen. Mem. I. 2. 31, 32; Hell. II. 3. 11, 18 и др.) в литературе довольно рано, уже в IV в., появилось и οἱ τριάκοντα τυράννοι (Polycrat. ap. Arist. Rhet. II. 24, p. 1401 a 34 sq.). Это обозначение было усвоено и Эфором (Diod. XIV. 2. 1, 4; 32. 1, 2) и, очевидно, в значительной степени благодаря ему позднее вошло во всеобщий обиход (ср., например: Plut. Lys. 27. 5; Cic. De leg. I. 15. 42; Ad Att. VIII. 2. 4).

Возвращаясь к Критию, отметим, что судьба его сложилась трагически. Перед лицом нараставшего демократического движения Критий, как было сказано, подготовил для себя и своих товарищей убежище в Элевсине, которым, однако, не успел воспользоваться. В начале 403 г. он погиб в столкновении с войском демократов в Пирее (Xen. Hell. II. 3–4; Philostr. Vitae soph. I. 16). Смерть его многими была воспринята с облегчением, но не было недостатка и в таких, которые в ненависти своей к народоправству склонны были героизировать Крития. Эти люди воздвигли для Крития и павшего вместе с ним Гиппомеха надгробный памятник с характерной антидемократической надписью. «Есть, – читаем мы в сколиях к Эсхину, – и следующее свидетельство о правлении Тридцати тиранов. Когда Критий, один из Тридцати тиранов, умер, на памятнике поставили Олигархию, держащую факел и поджигающую Демократию, и сделали следующую надпись:

Памятник это мужей благородных, которые хоть не надолго  
Спесь смогли укротить афинян народа проклятого  
(μνήμα τὸδ' ἐστ' ἀνδρῶν ἀγαθῶν, οἱ τὸν κατάρτατον  
δῆμον Ἀθηναίων ὀλίγον χρόνον ὄβριος ἔσχον)»

(Schol. Aeschin. I. 39).

### III. ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ВОЗЗРЕНИЯ КРИТИЯ

Выдающийся, хотя и демонического плана, политик, Критий был вместе с тем и видным представителем интеллектуальной элиты в Афинах конца V в. до н.э.

Он несомненно испытывал сильнейший интерес к новейшей социологической философии и риторике, видя в них инструмент для личного успеха. Отсюда его сближение с Сократом и Горгием, со вторым, наверное, более безоговорочное, чем с первым, отсюда же и следование примеру Антифонта, причем, возможно, не только в риторике, но и в политике. Ведь, как известно, Антифонт был не только выдающимся оратором и софистом, но и видным политиком, духовным отцом первой афинской олигархии – режима Четырехсот. Так или иначе, сформировался Критий в духовном плане именно как софист<sup>30</sup>.

Интеллектуальные интересы и искания Крития с большой полнотой реализовались затем в его литературном творчестве, весьма разнообразном, ибо он подвизался и как поэт и как прозаик в самых различных жанрах.

Среди его поэтических произведений фигурируют, в частности, некая гексаметрическая поэма, возможно, посвященная творчеству древних поэтов (сохранившийся фрагмент посвящен Анакреонту, который был тесно связан с домом Крития); далее, элегии, одна из которых была посвящена Алкивиаду, и драматические произведения – трилогия «Тенн», «Радаманф» и «Пирифой» и примыкавшая к ней сатирическая драма «Сисиф»; наконец, ряд стихотворных Политий (Πολιτεῖαι ἔμμετροι).

<sup>30</sup> О том влиянии, которое на Крития оказала софистика, см. также *Blumenthal. Der Tyrann Ktitias...* S. 9 ff.

Из элегий наибольший интерес представляет стихотворение, обращенное к Алкивиаду, где автор напоминает о своих заслугах в деле возвращения Алкивиада из изгнания. Элегия безусловно свидетельствует о личной близости Крития и Алкивиада, натур во многом сходных, что, однако, не помешало позднее Критию позаботиться об устранении своего старого знакомца, который мог стать опасным противником утвердившегося в Афинах тиранического режима Гридцати.

Из драматических произведений большой интерес представляет сатирическая драма «Сисиф», от которой у Секста Эмпирика (вторая половина II в. н.э.), цитирующего ее как произведение именно Крития, сохранился пространный отрывок, где развивается своеобразная социологическая концепция возникновения религии стараниями умного законодателя, догадавшегося сковать опасные тайные помыслы людей страхом перед богами:

Когда была людей жизнь неустроена,  
Звероподобна, управлялась силою,  
Когда ни добрый за свои дела наград  
Не получал, ни злой не знал возмездия, –  
Тогда прибегли, думаю, к карательным  
Законам люди, чтобы справедливость  
Была тираном и имела слугой насилие;  
Карался же любой, коль был повинен  
(κάλεϊτα μοι δοκουσιν ἄνθρωποι νόμους  
θέσθαι κολαστάς, ἵνα δίκη τυραννος ἦ  
<ὁμῶς ἀπάντων τὴν θ' ὕβριν δούλην ἐχη  
ἐζημιούτο δ' εἴ τις ἐξαμαρτάνοι).  
Затем, когда законы воспретили им  
Насильничать открыто, и они тогда  
Тайком свои свершали злодеяния, –  
То некий муж разумный, мудрый, думаю  
(<πρῶτον>λυκνός τις καὶ σοφὸς γνώμην ἀμῆρ),  
Для обуздания смертных избрал богов,  
Чтобы злые, их страшась, тайком не смели бы  
Зла ни творить, ни молвить, ни помыслить бы.  
Для этой цели божество придумал он, –  
Есть будто бог, живущий жизнью вечною,  
Все слышащий, все видящий, все мыслящий,  
Заботливый, с божественной природою.  
Услышит он все сказанное смертными,  
Увидит он все сделанное смертными.  
А если ты в безмолвии замыслишь зло,  
То от богов не скрыть тебе: ведь мысли им  
Все ведомы. Такие речи вел он им,  
Внушая им полезное учение  
И истину облекши в слово лживое  
(ψευσεῖ καλύψας τὴν ἀλήθειαν λόγῳ)...  
Так, думаю, что некто убедил сперва  
Людей признать богов существование»

(Sext. Emp. Adv. math. IX. 54. Пер. А.Ф. Лосева  
с некоторыми нашими изменениями = DK 88 [81 В 25])<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Поскольку в античной традиции автором «Сисифа», как и трагедий «Тенн», «Радаманф» и «Пирифой», называется то Еврипид, то Критий, проблема авторства остается дискуссионной. Принадлежность этих драматических произведений именно Критию - мнение У. фон Вилламовиц-Мёллендорфа (*Wilamowitz-Möllendorff U. von. Analecta Euripidea. B., 1875. S. 161 ff.*). Его разделяют – и, как кажется, вполне обоснованно – значительная часть ученых. См., в частности, *Панченко Д.В. Еврипид или Критий? // ВДИ. 1980. № 1. С. 144–162* – с новым, весьма обстоятельным разбором аргументации и конечным выводом в пользу взгляда Вилламовица.

Эта концепция занимает важное место в ряду развитых софистами воззрений на природу религии, воззрений скептического плана, тяготеющих к атеизму. Напомним в этой связи об обвинении в отрицании богов, предъявленном в Афинах Протагору, о прозвище «безбожник» (ἄθεος), которым древние наделяли и Протагора, и Продика, и Диагора Мелосского. Критий несомненно мог составить им компанию<sup>32</sup>.

Здесь же, в «Сисифе», показательно чисто софистическое, в духе платоновского Гиппия или Калликла (ср. Plat. Protag. 337 d: ὁ δὲ νόμος, τύραννος ὢν τῶν ἀνθρώπων κτλ; Gorg. 482 с sqq. [противоположение справедливости природы и деспотизма законов]), извращение фундаментальных понятий нравственно-политического плана, когда справедливость объявляется тираном (δική – τύραννος), а ее слугою провозглашается насилие (δουλή – ὕβρις)<sup>33</sup>.

Особое место среди поэтических творений Крития занимают Политии в стихах (Πολιτεῖαι ἔμμετροι). Правда, контекстные отрывки сохранились только от одного из этих сочинений – от «Лакедемонской политии», но они очень показательны. Здесь восхваляются умеренность спартанцев в еде и питье, в этой же связи упоминается спартанский мудрец Хилон с его крылатым выражением «Ничего слишком» (μηδὲν ἄγαν) и поется гимн всей системе воспитания в Спарте.

В прозе Критием также был создан ряд Политий (известны «Афинская полития», «Фессалийская полития» и «Лакедемонская полития»); затем сочинения пестрой тематики, возможно, в диалогической форме – «Афоризмы» ('Αφορισμοί, что лучше передать как «Определения», в двух книгах), «Беседы» ('Ομιλίαι, тоже в двух книгах), «О природе любви, или о добродетелях»; и, наконец, пособие по риторике «Ораторские введения» (Διηγητορικὰ προοίμια). Если в составлении этого пособия Критий выступал подражателем Антифонта, который был известным автором таких «Введений» и «Эпилогов», то «Беседы», возможно, были произведением новаторского плана, составленным в диалогической форме, что могло повлиять на литературную отделку произведений младшего сородича Крития – Платона<sup>34</sup>.

Среди прозаических сочинений Крития особое место опять-таки занимают Политии. Некоторые полагают, что именно Критий был создателем этого жанра историко-политических трактатов<sup>35</sup>. Его примеру могли последовать и его материалами могли воспользоваться другие – его младший современник Ксенофонт, а еще позднее Аристотель<sup>36</sup>. Особенно информативные фрагменты сохранились – и это весьма показательно – от Критиевой «Лакедемонской политии». Здесь, видимо, рассматривались все аспекты спартанского строя, начиная от надлежащего воспитания родителей будущих граждан и образа жизни всех вообще спартиатов (включая обеды, утварь, игры и танцы) до отношений с илотами, причем жестокость этих отношений изображалась с пугающей откровенностью.

Любопытны в Политиях точки соприкосновения с другим почитателем олигархии и недругом демократии – Ксенофонтом. У последнего в его «Лакедемонской политии» изложение, так же как у Крития, начинается с темы воспитания родителей бу-

<sup>32</sup> Традиционный взгляд на атеизм Крития (кстати, вполне разделяемый и Секстом Эмпириком, помещающим его в ряд известных безбожников) недавно был оспорен (см. Суриков И.Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V в. до н.э. М., 2002. С. 262–263). Аргументами для И.Е. Сурикова являются, во-первых, сомнительность принадлежности «Сисифа» Критию, а во-вторых, личность самого Крития: этот аристократ, консерватор, лаконофил, был «не циником-оппортунистом, а в полном смысле слова человеком идеи». И.Е. Суриков, однако, и сам не настаивает на весомости своих сомнений относительно авторства Крития; что же касается личности последнего, то для доказательства его цинизма и безбожия вполне хватило бы его поведения в зале суда над Фераменом: когда тот искал прибежища при алтаре, Критий без колебаний распорядился оторвать его от святыни и отвести на казнь. На этот жест Крития как на безусловное подтверждение его религиозного скепсиса справедливо указывает У. Морисон (Critias... P. 5–6).

<sup>33</sup> На это справедливо указано Г. Берве (Die Tyrannis... Bd I. S. 204, 211; Bd II. S. 629, 631).

<sup>34</sup> Morison. Critias... P. 4–5.

<sup>35</sup> Ibid. P. 6.

<sup>36</sup> Ср. также Blumenthal. Der Tyrann Kritias... S. 17.

дущих граждан. Интересна также известная лексическая близость Псевдо-Ксенофоновой «Афинской политики» и аналогичного трактата Крития (ср., например, употребление глагола διὰδικάζειν в смысле τὸ δι' ὅλου τοῦ ἔτους δικάζειν DK 88 [81] B 71 и Ps.-Xen. Ath. pol. 3. 6). Однако выдвинутое некоторыми филологами еще в начале XIX в. предположение, что именно Критий и был автором Псевдо-Ксенофоновой политики<sup>37</sup>, в современной науке не встречает сочувствия<sup>38</sup>.

В других сочинениях столь же любопытны отмеченные уже древними критиками точки соприкосновения с видным софистом и олигархом Антифонтом: близость стиля вообще (Plut. Vitae 10 or. 1. 832 d-e; Hermogen. De ideis. II. 11. 10); сходство научных взглядов, в частности, в противоположении разума ощущениям (в «Беседах», согласно Галену [Comment. in Hippocr. De offic. I. 1]).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общая оценка Крития, а в его лице и всего нового политико-идеологического движения в греческом обществе на исходе V в. до н.э.

Критий несомненно был видным политическим деятелем, вполне определенного, как мы сказали, демонического склада. Говоря более просто, это был политик ярко выраженной антидемократической направленности, эволюционировавший в своих идеалах от олигархии спартанского типа к тирании чистой воды. Напомним в этой связи о перелагаемом у Ксенофонта его суждении о подлинной сущности возглавлявшегося им режима Тридцати.

Вместе с тем Критий был видным мыслителем и писателем, примыкавшим к кругу софистов. Надо принять во внимание, что он, подобно Алкивиаду, был чужд нравственным исканиям Сократа, что опять-таки выразительно подчеркнуто у Ксенофонта. Напротив, его скептический взгляд на религию, его концепция искусственного изобретения религии, равно как и отмеченное выше извращение фундаментальных понятий нравственно-политического плана (приравнение δική к τυραννί), выдает в нем мыслителя сродни именно софистам, бывших носителями разрушительных, с точки зрения традиционной социальной морали, идей и понятий<sup>39</sup>.

Отсюда следует, что распространенное мнение о раздвоенности природы Крития, который будто бы был разрушительной личностью в политике, но оставался личностью творческой в литературе и философии, неверно. Никакой раздвоенности у Крития не было. Его политическое честолюбие, как и его литературное творчество, было лишено собственно нравственных устоев, и он на редкость целно, словом и делом, представлял тот тип сильной, но антисоциальной личности, который так ярко был воспет Калликлом в платоновском диалоге «Горгий».

Но это и обусловило суровое суждение о Критии и забвение его имени последующими поколениями. Внешняя отточенность и блеск его стиля, как и остроумие отдельных суждений, не могли возместить абсолютной порочности его дела. Наверное, этим и объясняется суровый приговор, сформулированный древним комментатором в схолиях к Платону «Тимею», приговор, прямо противоположный процитированному нами в начале нашего этюда мнению самого Платона. Критий, по словам схолиас-

<sup>37</sup> Одним из первых такое предположение высказал В. Ваксмут (*Wachsmuth W. Hellenische Altertumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates. Bd II. Halle, 1829. S. 441*). Оно было поддержано целым рядом известных ученых – А. Бёком, Ф. Блассом, Э. Дрерупом, В. Нестле. Критический ответ этим попыткам был дан Э. Калинкой (*Kalinka E. Die pseudoxenophontische 'Αθηναίων πολιτεία Lpz – B., 1913*).

<sup>38</sup> Ср *Diehl. Kritias. Sp. 1908; Morison. Critias... P. 6, 7.*

<sup>39</sup> Эта разрушительная, антисоциальная направленность и софистики вообще, и творчества Крития в частности верно отмечена А. Блюменталем (в связи с анализом «Сисифа») (*Der Tyrann Kritias... S. 20 ff.*).

та, хотя и был благородной породы и общался с философами, тем не менее считался невеждой среди философов, а философом только среди невежд (ἐκαλεῖτο ἰδιώτης μὲν ἐν φιλοσόφοις, φιλόσοφος δὲ ἐν ἰδιώταις) (Schol. Plat. Tim. 20 a).

На опыте Крития мы постигаем непростую, а лучше сказать – извращенную сущность таких новых явлений в политико-идеологической жизни Греции, как софистика и тирания. Эти явления интересны, но не вызывают симпатии. Представители новой философии по праву заслужили насмешливое прозвище софистов, т.е. не истинных мудрецов, а мудрствующих от лукавого, между тем как трагическое завершение жизни почти всех политиков-суперменов, выступивших на исходе V столетия, подчеркивает реальное банкротство тех, кто на деле пытался реализовать идеалы новой софистической доктрины.

#### CRITIAS, SON OF CALLAISCHROS, THE ATHENIAN, – A SOPHIST AND A TYRANT

*E. D. Frolov*

The wide-spread opinion that Critias had split personality, being destructive in politics but creative in literature and philosophy, is not true. Both his political ambitions and his literary activity were deprived of moral principles, and thus both in his words and in his deeds he represented a very integer type of that strong but antisocial personality, that was celebrated so vividly by Callicles in Plato's *Gorgias*.

Critias' case helps us understand a complicated, or rather perverse, essence of such new phenomena in Greek political and ideological life as sophistic and tyranny. Interesting as they are, they cannot win our sympathy. Representatives of the new philosophy deserved their mocking-name of sophists, i.e. not truly wise men, but sly philosophizers. At the same time the tragic finales of almost all «supermen»-politics of the late 5th century reveal the real bankruptcy of those who tried to realize the ideals of the new sophistic doctrine.